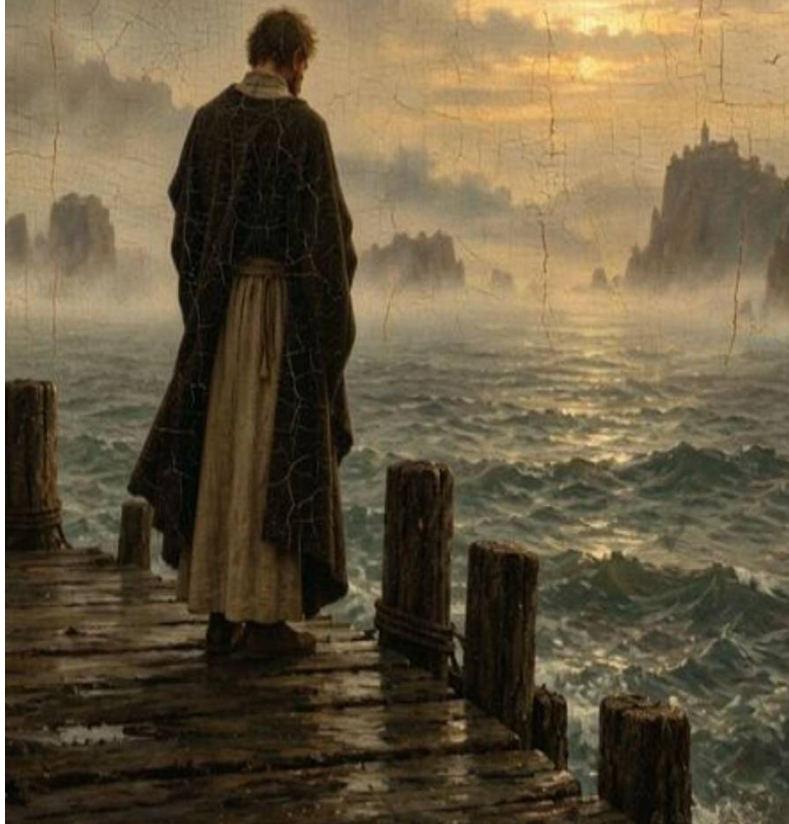


Михаил Морок

Забитый свет



Михаил Морок

Забитый свет

<https://litres.ru/74658018>

SelfPub; 2026

Аннотация

История человека, который выжил, но не жил. Леон, лет под сорок, после сгоревшей работы и рассыпавшегося брака бежит от внутреннего шума к морю и строит в себе запруду: отсекает желания, чувства, привязанности и называет это тишиной.

Семь лет он стоит на «дне» собственной души — твёрдо, спокойно и мёртво. Пока однажды на пирсе не появляется Марта — изношенная жизнью женщина, которая однажды ночью не прыгнет в воду, а попросит: «Научите не тонуть».

Философско-психологическая драма о наручниках из собственной правоты — и о веранде в приморском посёлке, на которой, кажется, впервые за много лет можно молчать вслух.

Содержание

Глава 1. Повседневность	5
Глава 2. Зов	14
Глава 3. Отказ	19
Глава 4. Проявление	32
Глава 5. Переход	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Михаил Морок

Забитый свет

Повесть «Забитый свет»

Автор: М.В. Морок

Философско-психологическая драма в восемнадцати главах

Глава 1. Повседневность

Дом Леона стоял там, где дорога, устав от своего пыльного пути, затихала и делалась тропинкой, а тропинка — песчаным берегом. Дальше лежало море. Оно было здесь не такое, как на юге, — спокойное, серовато-стальное, и потому казалось очень старым, как будто помнило все паруса, что прошли над ним за сотни лет.

По утрам над водой стоял туман. Он поднимался медленно, как дым от остывающих печей, и в этом тумане тонул дальний берег, и тонули чайки, и тонули звуки — даже скрип колодезного журавля в посёлке доносился сюда приглушённо, словно сквозь вату. Потом туман редел, и из него, как из воды, выходили сначала крыши, потом тополя, потом само солнце — бледное, октябрьское, доброе без всякого жара.

Леон жил один. Ему было под сорок, и ранняя седина — узкая прядь над левым виском — осталась у него с тех лет, о которых он не рассказывал даже старому Акиму, хотя Аким умел молчать так, что возле него рассказывали всё.

Дом был старый, бревенчатый, пахнувший смолой, сухими грибами и яблоками, которые Леон каждый год раскладывал по подоконникам на просушку. Яблоки эти — мелкие, кисловатые, дички — росли на трёх деревьях за огородом. Кто-то посадил их давным-давно, и давно уже не было в живых того человека, а яблоки всё родились, и ветер всё ронял их в

мокрую траву, и трава пахла ими по вечерам горько и чисто.

Утро Леона начиналось одинаково, и в этой одинаковости не было скуки — было то, что бывает в старых часах: размеренный ход, которого никто не слышит, но от которого всё держится. Он топил печь, и печь пела низко и протяжно, как поёт на ветру телеграфный провод. Он пил чай из глиняной кружки с отбитой ручкой — кружка была из его прежней, горевшей жизни, и он не сменил её на новую, потому что вещь, пережившая человека, становится его родней. Потом выходил на веранду и садился у окна.

Дни его не были похожи один на другой, и всё-таки были похожи все до единого — так похожи, как похожи волны: у всякой свой гребень и своя пора, а вода одна. По хозяйству Леон правил ровно столько, сколько требовалось, чтобы дом не взял его в руки запустения: колол дрова впрок, поправлял плетень за огородом, ходил в лес за сушняком, а осенью собирал грибы в корзину, купленную ещё в прежней, горевшей жизни, — корзина, как и кружка, была его родней. Были у него и свои мелкие обряды, которых он никому не открывал просто потому, что открывать было некому: по четвергам он чистил трубу, по воскресеньям перечитывал две-три страницы старой книги, читанной десятки раз, — не ради смысла, а ради того дыхания, каким дышит знакомая страница; а по вечерам, перед сном, обходил дом и притрагивался ладонью к стенам — как притрагиваются к живому, чтобы не забыть, что он жив.

Город изредка давал о себе знать письмами. Письма эти писались к нему по инерции, человеком, который уже не существовал: ведомости, уведомления, приглашения на собрания, куда Леон не поехал бы ни за какое золото. Читал он их бегло, как читают объявление о потерянной вещи, которую давно перестали искать, — и откладывал в ящик, где лежал и его прежний паспорт, помятый на углу стола. Иногда, выйдя вечером на берег, он вспоминал, как стоял когда-то среди людей и говорил им что-то нужное им или ненужное — уже не разбиралось, — и как в нём самом тогда стоял шум; и шум этот, был так же беззвучен, как бывают беззвучны наши самые громкие голоса, когда мы произносим их внутри.

Про свою внутреннюю запруду Леон думал так, как думают о хорошо сработанной вещи: с удовлетворением работника и без мысли о том, что у всякой вещи есть вторая её сторона, которой не видно, пока вещь стоит. Он был доволен собой тихо, без самолюбования, — а тем пуще был доволен, ибо доволен был не славой и не прибылью, а покоем, который есть самое тихое и самое настойчивое из наших владений: он никогда не хвастается и никогда не отдаёт, а только ждёт своего часа, лежа в человеке, как вода в колодце ждёт весны. Весна не заставила себя ждать. Только шла она не снаружи.

С веранды было видно море на весь его простор. И Леон смотрел на него подолгу — не потому, что нечего было делать, а потому что смотреть на воду было единственным за-

нятием, которое ничего не требовало взамен. Море не просило. Море не ждало. Оно дышало, и всё.

Бывало и другое, чему он не находил имени. Иногда, сидя на веранде неподвижно, он чувствовал между лопаток необъяснимое тепло — не жар, а именно тепло, ровное, как будто кто-то стоял у него за спиной и дышал. Оборачивался — за спиною были стена, старый календарь и вечер. Ум объяснял это одиночеством: у одиноких, говорил ум, бывают и такие побочные ощущения, как бывает звон в ушах и пятна перед глазами. Леон соглашался и снова поворачивался к морю. Замечу только, господа, что солнце в эти часы стояло спереди, а тепло было всё-таки позади; но наблюдений, не нужных для выживания, ум не производит — он откладывает их в самый дальний ящик, а ящик этот открывается не скоро.

Прошлое Леона — сгоревшая работа, тихо рассыпавшийся брак, зима, когда он не мог встать по утрам и потолок над ним смотрел в него так пристально, что хотелось отвернуться, — всё это осталось где-то за тем туманом, что каждое утро вставал над водой. Он не рассказывал о том времени. Не из скрытности, а потому что рассказывать было нечем: не было ни событий, ни слов — было только долгое, тягучее, как зимняя ночь, движение сквозь самого себя, когда человек идёт на дне своей души и не знает, есть ли там берег. Берег нашёлся. Но как он выглядел — Леон и сам сказать не мог. Просто однажды он перестал тонуть и начал дышать.

А как нашёлся тот берег — об этом Леон не рассказывал никому; да и рассказать было нечем, кроме слова, которого у него тогда ещё не было. А было вот что.

Город он покинул не из-за какой-то особенной беды — беды все уже были перечислены: сгоревшая служба, тихо рассыпавшийся брак, — а от шума. Не уличного: уличный шум человек умеет не слушать, он течёт мимо, как вода мимо столба. Шум шёл изнутри, из самой середины его, где не было ни дна, ни стен, — и оттого всё в нём гудело разом, и спать в этом гуде было нельзя, и жить в нём было нельзя, а только помирать понемногу, что он и делал, исправно, по всем правилам.

Приехал он к морю в конце декабря, когда всё лежало в снегу и море было чёрное, тяжёлое, глотавшее звёзды одну за другой. И на этой чёрной воде, в одну из ночей, навалился на него окончательно груз — груз погнездившихся внутри самого сердца и души человеческих страстей. Самое жуткое было не в них, а в том, что до той ночи он их либо не видел, либо трусливо не хотел замечать: они копились на дне, пока он бежал по кругу служб, разговоров и ожиданий, думая, что просто живёт, как все живут. Теперь же они все выросли перед ним глухой, непреодолимой стеной. Гордыня, гнев, уныние, похоть, зависть, страх, обида — они больше не прятались; они встали в ряд, как зеркало с семью отражениями его самого, и он смотрел в это безжалостное стекло и впервые в жизни видел себя без притворства, без масок и без дешёвого

обмана, — и в каждом отражении кривилась его собственная избитая душа.

Ум, испугавшись этого зрелища, бросился искать выхода, как бросается человек из комнаты, где загорелся пол, — и нашёл. И идею эту, показавшуюся ему спасительною и на семь лет сделавшуюся его истиной, изобрёл он, глядя на чёрную, поглощающую звёзды воду: отречься. Отсечь от себя всё живое — ожидания, желания, страхи, ненависть, любовь, — перегородить в себе все воды плотиною и стать каменным, как валуны под ногами, чтобы ни одно отражение больше не могло причинить боли. Он назвал это потом тишиной и покоем и был уверен, что нашёл берег.

Он не знал тогда — и долго ещё не будет знать, — что строит не берег, а запруду; и что вода, перекрытая в человеке, не кончается, а мутнеет и ждёт. Море же его не обманывало — оно ничего и не обещало; в его вечном волнении, которое пойдёт и тогда, когда от человеческих мыслей не останется и следа, был великий, холодный покой природы, и ум Леона присвоил этот покой себе, как присваивают чужой дом: вошёл, закрыл дверь и сидит в темноте, пока не стемнеет совсем.

И в этой каменной тишине он действительно перестал тонуть. Только плавать он уже не умел: он стоял на дне, и дно было твёрдое.

С той поры внутри него стало просторно. Это трудно объяснить тому, кто не бывал в пустом храме после службы: там

тихо, и тишина эта не пустая, а полная — полная света, пыли в косых столбах солнца и какого-то особенного, отзвучавшего покоя. Так и внутри Леона. Ему ничего не было нужно — ни славы, ни денег, ни даже компании. И в этом «ничего не нужно» было столько простора, что иногда он сам удивлялся: как это он жил раньше среди тесноты желаний и не задыхался.

По субботам в посёлок приходил автобус из города. Люди выгружались у сельпо — шумные, торопливые, с авоськами и узлами, — и посёлок на несколько часов делался другим: горланили голоса, звенели кастрюли, кто-то ссорился из-за цены на сало, кто-то ловил на бегу последнюю машину до райцентра. Леон сидел на веранде и смотрел на эту суету без усмешки, без превосходства — только с тем чувством, которое трудно назвать жалостью, потому что жалость стоит над человеком, а Леон чувствовал снизу, изнутри, как жжёт ладони огонь в чужом доме.

Люди эти казались ему очень усталыми. Не телом — телом они были моложе его. Усталостью какой-то другой, глубинной, той, что копится не от работы, а от ожиданий, обид и страха, и не унимается ни в отпуске, ни во сне. Он видел эту усталость в том, как они торопились, сами не зная куда, в том, как резко говорили друг с другом, в том, как ни один из них ни разу за всё лето не постоял у воды молча, просто постоял.

Леон молчал. Ему ничего не было нужно — и потому мол-

чать было легко и честно. Он знал только одно: где-то там, за туманом, за городами, за разговорами, у людей болит то же самое, что болело у него. И где-то в нём самом, под этой тихой, просторной, полной тишиной, лежало знание, как перестать болеть, — знание безмолвное, как дно моря.

Пока оно лежало так и молчало.

А крыша над верандой мерно считала каплями осеннее время. Кап. Пауза. Кап.

И море дышало, и всё было так. Так, капля за каплей, и шло время — до самого конца сентября.

Сентябрь уходил с берега так, как уходят на войну юноши: спеша, торжественно и не оглядываясь. Дожди делались длиннее, туманы — гуще, и по утрам море приходило к берегу уже не стальное, а оловянное, и в нём отражалось небо так тяжело, будто небо это было из свинца. Яблоки в тот год уродились кислые, как всякая запоздалая ягода; Леон сушил их на окнах, и по вечерам по всему дому стоял этот горький, честный запах — запах осени, которая ничего не обещает и потому не обманывает никогда.

Ничего не предвещало ему того, что через несколько дней, через одну-единую ночь, в посёлке объявится человек, от которого он, не зная того, начнёт отсчитывать всё остальное. Море дышало. Печь пела. Часы — не на стене, а в нём самом — шли размеренно, в такт каплям с крыши. Так дремлет человек на веранде в тихий день, и небо над ним чисто, — а небо уже завело за горизонт тучу, которая через час ска-

жет своё слово. Наука о том, что тишина бывает затишьем, даётся человеку не из книг, а задним числом; и наука эта, подобно всякому хорошему счёту, оплачивается всегда из своего кармана.

Глава 2. Зов

Марта появилась в конце сентября, когда осень уже перешла на берег и в лесах за посёлком загорелись первые рябины. Он заметил её раньше, чем она заметила что-либо вообще: женщина в ярком пальто — ярком, как осенний клён среди рыжих берёз, — стояла у воды и смотрела на море так, как смотрят на то, что собираются скоро покинуть.

Леон знал этот взгляд. Он не раз видел его в городе, у витрин, на перронах, в электричках. Так смотрят люди, которые уже мысленно простились с местом, где живут, и только ждали случая, чтобы сказать это вслух. Семь лет назад он сам так смотрел.

Она сняла комнатку у Прасковьи Ивановны, на краю посёлка, в избе с заросшей крапивой огородиной. Каждое утро она выходила к морю, стояла минут десять — неподвижно, подставив лицо ветру, — и уходила обратно. Ни купалась, ни загорала, ни собирала камешки, как собирают приезжие. Просто стояла. И море не сумело её разговорить, потому что в октябре её нашли на пирсе в четыре часа утра.

Посёлок, разумеется, и не заметил, как эта женщина перевернёт жизнь по крайней мере двоих его жителей; посёлок смотрел на неё обыкновенными глазами приезжей, которая всегда уедет к Пасхе, и потому не докучал ей заботой: здоровались вежливо, вопросами не мучили, — а сплетня, ко-

торая работает без выходных и без праздников, успела уже нарисовать её во всех подробностях, и подробности эти были так чисты, что сами женщины, их рассказывавшие, краснели, рассказывая. Говорили: брошена. Говорили: дочь при ней. Говорили: уехала от мужа. Правда, как всегда в таких случаях, была проще всех сплетен и оттого не годилась в разговор: Марта была просто изношена — изношена, как изнашивается подкладка перчатки, изнутри, не видя и не слыша никого; а когда перчатка сползает с пальцев, все только удивляются: за что?

Прасковья Ивановна, старуха с наружностью крючка и с сердцем, которое открывалось не всякому и не с первого раза, смотрела на постоялицу без насмешки, а с тем любопытством, каким смотрят на незнакомую птицу: попробует ли гнездо или улетит. И сама Марта, должно быть, не знала, чего она искала на этом берегу, кроме десяти минут стояния у воды. Она была из тех людей, которые ищут не спасения, а остановки — места, где можно наконец стать и не бежать; и место это в человеке далеко не всегда совпадает с местом на карте, оттого и бродят такие люди по свету, останавливаясь повсюду и нигде не останавливаясь, пока не случится им встретить не место, а человека, у которого внутри тоже тихо и тоже открыты окна.

Той ночью была короткая, незлая гроза, какая бывает в начале октября: дождь прошёл по крышам, стих, и остался только мокрый ветер и запах мокрой соли. Соседей подня-

ли в темноте. Светали фонари, шумели чужие люди в форменных куртках, кто-то плакал за околицей. Марта не собиралась прыгать — она стояла по эту сторону перил, но перила были мокрые от дождя, и она держалась за них обеими руками, как держатся за последний разговор, который ещё можно не окончить.

К пирсу Леон подошёл позже, когда всё стихло и когда чужие огни ушли, дрожа, по буграм. Пирс был пуст. Только в щелях между досками лежали лужи, и в каждой луже отражалось серое, тихо идущее небо, — так точно, так чисто, что казалось, будто небо спустилось на пирс и лежит на нём, устав за ночь.

В тот же вечер она постучала к нему. Случайно или нет — он так и не узнал. Села на нижнюю ступеньку веранды, длинную, обтёсанную, ещё тёплую от дневного солнца, и сказала негромко:

— Мне сказали, вы... ну... вы какой-то правильный. Что вы умеете жить.

— Я не умею жить, — сказал Леон. — Я научился не тонуть. Это другое.

— А научите не тонуть.

Он долго молчал. Крыша над верандой считала капли после недавнего дождя — одна, пауза, другая. Море внизу ровно дышало. И в той его тишине, что была просторной и спокойной, как пустой храм, шевельнулось что-то живое и тёплое — и вместе с тем страшное, как бывает страшно вынести

огонь из дома, если просят, а дом стоящий.

Он услышал собственный зов — так, как бывает слышишь в старом доме тонкий звон стекла где-то в глубине, когда на лестнице скрипит половица: звон в пустоте, которого раньше не было.

Он посмотрел на неё. Лицо у Марты было усталое, и усталость эта была не от дороги, а от долгого, негаснущего напряжения, какое бывает у человека, который годами держит в руках что-то тяжёлое и не смеет положить, потому что не знает, куда. Глаза у неё были светлые, ясные — глаза того, кто ещё надеется, что по-настоящему хорошие люди существуют.

— Я могу только стоять рядом, — сказал наконец Леон.
— Плыть вы будете сами.

— Хорошо, — сказала Марта просто. — Пусть рядом.
Она ушла по тёмной улице, и её светлое пальто мелькнуло в последний раз у крапивы, как листок, который несёт по ветру. Леон ещё долго сидел на веранде. Ночь была тихая, звёздная, пахла мокрой пылью. И что-то в нём тихо, тонко звенело — то ли оттого, что треснуло стекло, то ли оттого, что в пустом храме наконец открыли окно и в него вошёл осенний, чистый воздух.

Ночь была глубокая, и Леон подолгу не ложился. Он сидел на веранде, накинув на плечи старую серую кофту, оставшуюся от прежней жизни, и слушал, как море работает в темноте: без усталости, без требования, по всем законам своим. И

в голове у него, в той пустой, просторной зале, где семь лет не было ни стула, ни гостя, кто-то нерешительно постукивал — так постукивают в дверь чужого дома, не зная, откроют ли. Он знал, кому это стучится: той самой тишине его, которая, как всякое жильё, не выносит пустоты до конца и зовёт к себе хоть кого-нибудь, лишь бы дышать не вполглота.

Наутро он встал как обыкновенно и сделал всё обыкновенное, — но с тем изменением в человеке, какое снаружи не видно и которое потом, задним числом, оказывается поворотом всей дороги: так домоправитель, запирающий на ночь все замки, всё-таки не запирает одного — той двери, из которой сам вышел.

Глава 3. Отказ

На другой день утром она пришла снова — уже не просить, а держать его за слово. Ответ был короток.

— Нет, — сказал Леон. — Я не учитель. У меня нет слов, которые бы вам помогли. Я и сам до сих пор не знаю, как я дошёл до того, до чего дошёл.

И сказал это не потому, чтобы скрыть от неё то, что умел, а потому, что искренне верил тогда — и в ту минуту не лгал, — что человек, научившийся держаться на воде, ещё не значит умеющий учить плавать других, и что страдание каждого человека есть дело его самого, а не постороннего человека, и что вмешаться в чужое страдание — всё равно что войти в чужой дом без стука и звать хозяев к столу, не спросив, хотят ли они кушать.

Марта выслушала его молча, кивнула — и в этом кивке не было ни обиды, ни удивления, а было что-то другое, хуже обиды: согласие, спокойное, привыкшее согласие человека, который давно уже не ждёт от людей помощи и на каждую новую попытку отвечает заранее приготовленным «пожалуйста, не стоит», чтобы не тратить на надежду силы, которых у него и так нет. Она встала, сказала «извините, что побеспокоила», шагнула с нижней ступеньки на песок — и Леон видел ещё, как её ярко-рыжее пальто мелькнуло между ветлами у реки и скрылось, — и он не позвал её назад, хотя

что-то внутри него и в эту минуту говорило ему, что надо бы позвать, но он не позвал, потому что ему казалось, что позвать — значило бы обмануть, взять на себя то, чего он взять не может, а лучше уж пусть человек уйдёт ни с чем, чем уйдёт с обещанием, которого не исполнишь.

В ту ночь Леон не спал.

Он лежал на своей постели, глядя в потолок, по которому ходила лунная тень от ветки за окном, и слушал — и впервые за семь лет та тишина, которая в нём жила, не успокаивала его, а допрашивала его, как допрашивает совесть человека, который знает, что сделал не так, но ещё не признался себе в этом. И голос этой тишины — а голос ли это был, или собственная его мысль, оттого только тише и страшнее, — говорил ему: вот ты говоришь, что не хочешь спасать, потому что спасение чужое не есть спасение; но разве не потому ты не хочешь, что боишься испачкаться, боишься, что они отнимут у тебя твой покой, твою тишину, твой драгоценный пустой храм, который ты так старательно выстроил в себе семь лет? Ты нашёл ключ и сидишь с ним в комнате, запершись изнутри; тебе хорошо; а за стеной тонут люди, и ты слышишь, как они бьют в стену, и говоришь им: стучитесь тише, я молюсь. Ты зовёшь это принятием, а это — эгоизм, выглаженный и холёный.

Он старался возражать себе, как возражал бы постороннему человеку, — и возражения его были не пустые, были настоящие возражения, которые он и прежде слышал от лю-

дей умных, да и сам думал о них не раз: они не хотят помощи, они хотят чуда; они хотят, чтобы за них сделали то, что каждому человеку надо сделать самому; дай им руку — они схватят тебя и потащат в воду вместе с собой; их страдание — их путь, и никто не имеет права отнимать у человека его путь, как бы тяжел этот путь ни был.

И он чувствовал, что возражения эти справедливы, и вместе с тем чувствовал, что справедливость их есть именно та самая правота, от которой так легко, так удобно, так уютно оправдывается всё человеческое себялюбие, разодетое в одежды разума. Ибо он знал — знал теперь, в темноте, лежа без сна, так ясно, как не знал никогда днём, — что его отказ был не смирением и не мудростью, а страхом, простым, человеческим страхом человека, который однажды чуть не утонул, выбрался на берег и теперь думает только об одном: как бы не войти опять в воду. Он знал, что то, что он называл берегом, было не берегом, а гаванью, — гаванью, в которой судно стоит крепко, но из которой оно уже никогда не выйдет, и что гавань эта, так тихая, так удобная, была только красивым названием его страха.

Ибо вспоминалось ему теперь, в темноте, и другое — то, чего он не вспоминал днём никогда. Жена его, человек добрый и тоже уставший, говорила ему однажды — устало, отворачиваясь к окну, — что жить с ним всё равно что жить в доме, где топят, но не открывают форточек: тепло, а дышать нечем, и уходят из таких домов не от зла, а за воздухом.

Тогда он обиделся, и обида эта была последней из длинного ряда мелких обид, которыми вообще скрепляются наши браки, как скрепляются счёты — ошибками, сводящимися в конце концов к нулю. Теперь, в эту ночь, слова её вспомнились ему целиком, и он увидел, что были они не упрёком, а диагнозом, поставленным рукой более уверенной, чем его собственная.

И службу он вспомнил — сгоревшую, шумную, в которой он горел не делом, а суетою, и в которой никто никогда не сказал ему важного; а важное было сказано один раз, в двадцать лет, учителем гимназии, заметившим его растерянность на экзамене и сказавшим тихо, чтобы не слышали другие: «Вы бежите не от жизни — вы бежите от себя, а это удушье без продыха, сударь мой». Слово было неточное, стариковское, а суть в нём сидела верная: Леон всю жизнь удил свою собственную удочку — и вместо рыб вылавливал самого себя, раз за разом, с каждой смотанной удочкой более испуганного, чем прежде.

Лежа без сна, он понял ещё и то, что тишина его, выстроенная так заботливо, была как раз тем, чего жена его просила и не дождалась: не молчанием — молчания у него было в избытке, — а участием. Молчание и участие имеют одну внешность и разную душу, как имеют одну внешность гостиница и дом; и оттого все женщины, как знает всякий, кто жил с ними под одной крышей, всегда отличают, где их приняли в номер, а где пустили в комнату навсегда.

И в эту ночь ему вспомнился — почему-то именно теперь, а не раньше — Аким, старый рыбак, и та фраза, сказанная семь лет назад, зимнею ночью, на том же пирсе, когда Леон стоял и смотрел на воду, и Аким, не глядя на него, делая что-то со своими снастями, сказал: «Волна не виновата, что ты плавать не умеешь. Учись. Вода — она не против». Тогда он не понял этих слов и принял их за стариковскую простоту; теперь же, в темноте, он вдруг понял, что старик сказал ему тогда самое главное и самое трудное из того, что можно сказать человеку, — и что до этих слов дойти надо было самому, что нельзя их передать, как нельзя передать другому чувство голода или чувство света.

«Вода не против», — подумал Леон и вдруг почувствовал, как что-то тяжёлое, лежавшее в нём все эти семь лет и казавшееся ему покоем, сдвинулось и стало лёгким, и что гавань, в которой он так крепко стоял, стоит не для того, чтобы в ней стоять.

Он ещё не знал, что скажет Марте завтра; но знал уже, что скажет не то, что сказал сегодня.

Зима, надо сказать, выдалась суровая: снег лежал по крыльечкам, и море у берега становилось сначала тяжёлым, а потом и вовсе стыло у камней, как стынет в чашке молоко. Веранда, не отапливаемая, дышала холодом, и всё же люди приходили: Марта приносила пирожки, Николай — свечи, Севостьянов — дрова и своё длинное молчание, которого никто не мог разрушить и которое, надобно заметить, было самым

содержательным членом этих собраний. Они сидели в пальто, пили чай, и у самовара, гудевшего, как гудит в зимнем лесу ветер, — и в этом маленьком мире, собранном из четырёх человек и одного чайника, было больше тепла, чем в иных господских гостинцах с каминами и портретами предков.

И Марта, сидя на краю скамьи, в один из вечеров вдруг сказала — сама не зная, что говорит это вслух, а не только в сердце: «У меня, знаете ли, в первый раз за много лет не болит голова. Совсем». И все молчали, и молчание это было не пустым, а таким, каким оно бывает у людей, которые сидят вместе у огня и знают, что огонь горит не для тепла, а для души; а Леон, слушая её, почувствовал вдруг жалость — не к ней, а к себе, прежнему, который семь лет не знал, что бывает такое счастье, и не подозревал, что счастье это раздаётся даром, стоит только сесть и слушать человека, не поправляя его.

Утро явилось в тот день не серым, как бывало, а чистым, промытым, и море лежало уже не глухое, а отзывчивое, и чайки над ним кричали, как кричат по особенным дням, — но Леон не заметил ни того, ни другого, потому что человек, в котором за ночь сдвинулось главное, замечает такие вещи обыкновенно потом, и притом с удивлением, как замечают уже на другой улице, что всю дорогу прошли мимо той самой двери, в которую были назначены, — и сердце стучит, а голова пустая и светлая.

И потому шёл он к Акиму не с тем чувством, с каким хо-

дят за советом, а с тем, с каким ходят исповедаться: он уже знал, что скажет Марте, и знал, что скажет ей не урок, а правду о себе, — что и есть, в сущности, единственный урок, которого никто от нас не требует и который потому всегда берётся с охотою.

К Марте он не пошёл. Пошёл к Акиму.

Наставник приходил к человеку обыкновенно не тогда, когда человек искал его, а тогда, когда внутри человека что-нибудь уже сдвинулось и искало только повода сдвинуться до конца; и потому Аким, к которому Леон пошёл на другой день после бессонной ночи, был не столько причиной того, что произошло в Леоне, сколько последним толчком, от которого и без того готовое подняться в нём поднялось. К Марте он не пошёл прямо, — а сделал то, что делают люди, у которых решение созрело, но ещё не окрепло: пошёл сперва к тому, кто мог бы его укрепить.

Аким жил в полукилометре от берега, в маленьком домике, обросшем с трёх сторон малиной, и был из тех людей, которых посёлок издавна числил в чудаках и потому не трогал, — а не трогая, уважал больше, чем всех почтенных людей вместе. Был он стар, весь рыжий от седины, с руками в таких мозолях и рубцах, что, глядя на них, нельзя было представить себе, чтобы эти руки когда-нибудь были молодыми и гладкими, — и держал он их всегда так, как держат люди, всю жизнь работавшие: опустив, свободно, не думая о них. Случилось же так, что именно он, семь лет назад, зимой, на

том же пирсе, где теперь стояла Марта, сказал Леону единственную фразу, которую Леон вынес из всех слов, слышанных им в самое тяжёлое время его жизни; сказал как бы между прочим, не глядя на него, делая что-то со снастью: «Волна не виновата, что ты плавать не умеешь. Учись. Вода — она не против». И Леон тогда не понял этих слов, а принял их за простоту старика, — и всё-таки они остались в нём, как остаются в земле брошенное, казалось бы, без всякой пользы зерно, которое и прорастает только после того, как земля перезимует.

Леон нашёл старика на дворе: Аким чинил сеть, сидя на перевёрнутой бочке у крыльца, и, увидев гостя, не удивился и не спросил, зачем тот пришёл, — а только кивнул на вторую бочку, потому что знал, как и все люди его рода знали, что человеку, пришедшему с тяжёлым на душе, надо прежде всего дать сеть и помолчать, и что молчание это вовсе не безделье, а такая же работа души, как плетение сети есть работа рук.

Об Акиме надо сказать особо, ибо люди его рода — люди, которые научились молчать у воды, — встречаются на свете редко и потому поныне считаются чужаками. Была у него за плечами жизнь, полная работы: сорок лет ходил он с сетями, зимовал в посёлке, вдовел рано и пережил всех своих близких так спокойно, что соседи находили в этом что-то непочтительное. Детей у него не осталось, а маленький огород, малина и лодка под навесом были ему вместо детей; он во-

зился с ними по утрам, и соседям казалось, что он разговаривает с лодкою, — и, может быть, так и было, ибо человек, который много лет живёт один, разговаривает со всем, что вокруг него, и это не сумасшествие, а последняя форма общения.

Ибо молчание Акима было не пустотой, а накоплением: за сорок лет оно впитало в себя столько погод, столько ртов, столько утонувших и спасённых, что в нём было уже нельзя не услышать глубины. Говорили, что в молодости он три дня пробыл в воде, вцепившись в борт опрокинутой лодки, и с тех пор перестал бояться чего бы то ни было, а вместе с тем перестал и хотеть чего бы то ни было, — и что эти две перемены суть одна перемена, замеченная разными людьми. Правдиво ли это или выдуманно посёлком, доподлинно неизвестно; но всякому, кто сидел возле него, делалось понятно одно: перед ним сидел человек, который уже ничего не ищет на стороне, и потому все его слова, как бы малы они ни были, идут не от иска, а от жилы, — а от жилы, как известно, не отречёшься.

Леон сел и молчал долго; Аким чинил сеть, продевая суровую нитку сквозь ячеи, и пальцы его двигались ровно и не спеша, как двигается всё у людей, которые не торопятся, потому что знают, что всё, что должно случиться, случится и без их торопливости.

— Марта, — сказал наконец Леон. — Та, с пирса. Она ко мне стучалась, а я отказал. Теперь вот думаю: чего я боюсь.

Боюсь, что не удержу, что, начав говорить, начну совать, что моя тишина, как только передам её словами, сделается рецептом, а рецепт — это уже не истина, это аптека. И мне кажется, что я право имею не идти, потому что вмешиваться в чужое страдание нельзя.

Аким сложил сеть на колени и поглядел на Леона так, как глядят старики на молодых: без укоризны и без торжества, а просто увидев в нём то, что сам пережил когда-то и потому знал наперёд.

— Ты путаешь два страха, — сказал он. — Боишься того, что не спасёшь. А бояться надо того, что станешь спасать. Разницу чувствуешь? Спасать — это когда тащишь человека за шиворот к берегу, потому что тебе кажется, что тебе виднее, где ему берег; а от этого люди тонут ещё быстрее, потому что человек, которого тащат, всё сопротивление тратит на того, кто тащит, а не на воду. А не спасти — это можно; можно стоять рядом на берегу, чтоб он видал: есть там, куда ты вынырнул, воздух. Дальше он сам плывёт или нет — его вода, и никто на свете, хоть все святые вместе, не доплывёт за него.

И помолчав немного, глядя на море, которое отсюда, с пригорка, виделось дальше и спокойнее, чем от Леонова дома, он сказал ещё:

— И вот что ещё скажу тебе, Леон. Когда пойдёшь к людям — забудь слова: «должен» и «спасу». Возьми одно слово: «рядом». Скажешь лишнее — заметишь, что сказал лишнее; начнёшь тащить — заметишь, что тащишь; заметил — по-

стой минутку в тишине да начни заново. Вся наука в этом, и больше нет никакой науки, а всё, что люди придумали сверх того, — реклама, то есть шума ради, а не дела ради.

И, помолчав, добавил он ещё — тихо, так, что Леон потом долго не мог понять, слышал ли он эти слова наяву:

— А Господа-то, Леон, напрасно ищут спереди. Он не спереди ходит и не сбоку — Он позади тебя всё время ходит, шаг в шаг, с самого детства. Обернёшься — увидишь. Только обернуться надобно не головой, а сердцем: головой человек оборачивается на шум, а сердцем — на любовь.

Леон тогда не понял этих слов — и запомнил их, как запоминают погоду: записал в память и забыл. Но слова не пропали: они лежали в нём, как зерно в земле до срока, и ждали.

Леон сидел на бочке, и в нём происходило то, что не называется ни радостью, ни умилением, а есть просто осязаемая человеком перемена внутри его самого: что-то в нём вставало на место — не как мысль встаёт на место, что бывает приятно и мимо, а как замок щёлкает в двери, которую давно не запирали изнутри и которая, оказывается, всё время была отперта. Он хотел сказать Акиму спасибо и не сказал, потому что почувствовал вдруг, что в слове «спасибо» в эту минуту было бы больше от его собственной торопливости и самолюбования, чем от благодарности, а благодарность настоящая он выразит тем, что пойдёт и сделает то, к чему его привели.

И потому он только молча поклонился и пошёл домой, и,

идя по песчаной дороге мимо зарослей малины, чувствовал себя таким лёгким, как бывают лёгки люди после того, как решат наконец то, что давно уже решено в них было, а они упирались и не признавались себе в этом. Ему казалось, что он несёт теперь в себе что-то новое; а на самом деле он только перестал удерживать то старое, что стояло в нём, как вода стоит в запруденном ручье, и, перестав удерживать, почувствовал, как оно ушло, и на месте его стало течь то живое, которое всегда было под запрудой и ждало только того, чтобы кто-нибудь разобрал запруду.

К вечеру он написал на клочке бумаги, без всякой надобности, просто чтобы было как-нибудь яснее, три слова: «рядом», «не тащить», «тишина», — поглядел на них, усмехнулся себе, что человек уже немолодой, а записывает, как гимназист, уроки, — и всё-таки положил бумажку за икону, не оттого чтобы боялся её потерять, а оттого что вещь, на которой написано важное, делается сама по себе важной, как делается важным колышек, вбитый путником на развилке.

Двор Акима, в который он вышел после разговора, был прост и убог, но убогостью этою был похож на шахматную доску в конце партии: всё убрано, всё по местам, ничего лишнего. Сеть сохла на гребне; бочка стояла под водосток, и вода в ней была тепла и прозрачна, как слеза; старая собака, не подымаясь, проводила гостя глазами и вернулась к своим снам, ибо в этом дворе знали, что гостям не мешают уходить. И по дороге домой Леон поймал себя на том,

что идёт быстро и легко, как идут от хорошего совета, — хотя совета, так сказать, никакого не было: было только слово «рядом», сказанное стариком между делом, как говорят о погоде.

А с погодою-то, между прочим, как раз и вышло: небо над посёлком стояло высокое, чистое, и вода в море была в тот день непривычно гладкая, так что даже с берега было видно, как на отмели копошатся рыбёшки. Леон остановился на пригорке, посмотрел на эту прозрачную воду и подумал — не словами, а тем внутренним чутьём, каким мы понимаем вещи до всяких слов, — что боится её уже меньше, чем месяц назад, и что страх этот уходит по мере того, как появляется дело. Ибо дело и страх не уживаются в одном человеке: как не уживаются в одном доме огонь и хлам.

Глава 4. Проявление

В среду, пятнадцатого октября, он постучался к Прасковье Ивановне просить веранду.

Пятнадцатое октября выдалось тихое, с моросью, которая с утра щипала лицо, а к полудню кончилась, и посёлок, вымытый и потемневший, стоял под небом, в котором не было ни облака, а только высокий, немой свет. Леон шёл к Прасковье Ивановне через посёлок, с узелком, в котором были чашки и две новые свечки, — и в нём было то волнение, какое испытывают люди перед делом, которое давно созрело: не страх, а гулкость, как в пустом зале перед первым звуком.

Уже у самых ворот он услышал за калиткой голос Прасковьи Ивановны — она ругала кота Фаддея за что-то, ей одному известное, — и голос этот, бытовой, кисловатый, человеческий, вдруг показался ему самой точной прелюдией ко всему, что должно было начаться на этой веранде: ибо вещи великие начинаются у людей всегда с вещей мелких, и надо бы нам, господа, хоть иногда записывать эти мелочи — они потом, когда всё уже произошло, оказываются самою важною частью целого.

Глава 5. Переход

Прасковья Ивановна, вдова, женщина лет шестидесяти, страдавшая ревматизмом и убеждением, что все беды идут от молодости, выслушала Леона с недоверием.

— Веранду? Разговоры? — переспросила она, поднимая брови. — А что, мода, что ли, такая теперь? В городе говорят — секты всякие. Молитесь по средам?

— Никакой секты, Прасковья Ивановна. Люди будут приходить и разговаривать. Всё.

— Даром, значит? — Она щурилась и качала головой, и в этом качании головы было что-то драночное, старое, но не злое. — Эк вы придумали. Даром. Теперь и даром никому не нужно, уж поверьте слову. Платят-то за что попало, а даром — избаловались, даром и не хотят.

Веранду она, впрочем, дала. Прибрала, вынесла самовар на круглый столик с самодельной скатертью, в которой всегда было что-то материнское, и в первый вечер сидела в соседней комнате и подслушивала, что в начале даже было неудобно, а потом перестали и обращать внимания.

Пришли четверо. Марта. Человек, выплачивавший дом банку, с погасшим лицом — голова семейства, инженер по профессии, назвавшийся Николаем. Жена его, всё время молчавшая и всё время сжимавшая сумочку на коленях, как будто в сумочке сидело что-то живое, что вот-вот вырвется,

— и старый машинист Севостьянов, страдавший бессонницей уже лет двенадцать и привыкший к тому, что его бессонницу не то чтобы не лечат, а как будто даже одобряют: мол, характер у человека, воля.

Леон говорил в тот вечер очень мало. Он вообще в эти вечера мало говорил — говорил больше слушал, и слушал так, как в посёлке, вероятно, не слушали со времён его основания, то есть не перебивая, не подбирая на середине фразы ответа погромче и поумнее, не торопясь решить чужую жизнь, как решают кроссворд, — с удовольствием и не глядя.

Сначала всем было неловко. Николай извинялся, что, мол, отняли время, сам же не уходил; жена его смотрела в окно на темнеющее море с выражением, каким смотрят на море приезжие: вот, мол, море, и что с ним делать, у нас на юге видели получше. Севостьянов кашлял. И только Марта, сидевшая у самого края скамьи, как сидят люди, которые ни на что не смеют претендовать, глядела на Леона без всякого выражения, — и в этом отсутствии выражения было столько усталости, что на неё трудно было смотреть.

Но потом что-то сдвинулось. Николай вдруг перестал извиняться и заговорил — сначала о том, что мать у него подтачивает, что дом строил не тот, что надо было, что жена, кажется, уже не любит его, а он её тоже, кажется, не любит, но живут, потому что так живут все, — и говорил, и сам не верил, что говорит это вслух первому встречному, и голос у него дрожал, а лицо, всегда кислое и недовольное, вдруг

сделалось просто несчастным, а несчастное лицо всегда выглядит моложе и человечнее недовольного. Он говорил — и Леон молчал, и в этом молчании не было ни осуждения, ни снисхождения, ни желания поправить и переделать, а было то, что бывает у хорошего врача перед тем, как он ставит диагноз: полная, спокойная, почти физическая внимательность.

— Так я не понимаю, — остановился вдруг Николай, растерянно. — Вы же меня должны остановить. Сказать: не то говорите, вот где корень. Люди же всегда говорят — надо бороться, надо взять себя в руки...

— Я могу только сказать, что вы уже взяли себя в руки, — проговорил Леон. — В руки вы взяли себя лет десять назад и держите крепко. Может, опустить на минуту?

Николай посмотрел на него так, как смотрят на человека, который сказал нечто простое и потому невозможное, и вдруг — некрасиво, носом, как плачут взрослые мужчины, не умеющие плакать красиво, — заплакал. Жена его дёрнулась, потянулась было к нему, чтобы сделать что-то привычное — прижать, утихомирить, дать платок, — и вдруг не сделала ничего, а только смотрела на мужа, и в глазах её было что-то новое, будто она увидела его впервые лет за десять, и увидела, что он не сволочь и не чужой, а просто человек, который страшно устал.

Впрочем, все эти вещи не назывались. О любви, о прощении не говорилось ни слова — слово это вообще в посёлке ходило только в применении к родителям и Богу. Говорили

о дровах, о налогах, о том, что в райцентре обещали новую поликлинику, и не говорили — потому что не надо было уже говорить — о том единственном, из-за чего пришли.

Так и пошли вечера.

Состав приходивших понемногу менялся, и в этом тоже была своя наука. Иные приходили три-четыре вечера и пропадали, как пропадает человек, ходивший в гости из вежливости; иные садились у двери и годами не поднимались на среднюю ступеньку, и всё-таки не уходили; а третьи, молчавшие дольше всех, выходили в один из вечеров на середину веранды и говорили вдруг то, от чего все садились тише, — ибо человеческое слово, дозревшее в тишине, всегда тяжелее слова, дозревшего в спорах.

У этих вечеров была и своя бедная повседневность, без которой они бы не состоялись: кто-то чинил самовар, кто-то приносил яблоки, кто-то, уйдя, возвращался на другой день за забытой рукавицей и, вернувшись, оставался до конца. Ибо веранда держалась не на словах Леона, как думали сами его гости, а на этих мелких возвращениях: на рукавицах, на пирожках, на привычке к скрипучей ступеньке, — на всём том, из чего, собственно, и складывается у людей родство, когда они не называют его этим именем.

К третьему вечеру самовар стал лишним — его выносили, но он всё дольше оставался нетронутым, потому что когда людям хорошо молчать вместе, чай уже не нужен. Прасковья Ивановна сначала шумела из соседней комнаты, по-

том вышла в сенцы, потом, к зиме, стала сидеть на веранде в дальнем углу, в платке, молча, и никто не мог сказать, слушает она или дремлет, но по вторникам, когда собирались, она почему-то доставала из заветной шкатулки чайные ложечки посеребрённые, с вензелем, которых не касалась даже на именины.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.